

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Ф. И. Тютчев

Глава первая

Москва, 1921

На рассвете зазвонил телефон. Аппарат стоял на этажерке у кровати. Профессор Свешников, не открывая глаз, сел и поднял трубку.

— Михаил Владимирович, простите, что беспокою, ради бога, приезжайте срочно. Я знаю, вы шофера отпустили. Машину за вами уже отправили. Больной самый что ни есть оттуда. Острый живот, температура тридцать восемь.

Звонил заведующий хирургическим отделением доктор Тюльпанов. Шепот его был страшен. Михаил Владимирович ясно представил, как Тюльпанов застыл у стола в своем кабинете с телефонной трубкой в руке. Стоит навтыяжку. Бегают, сверкают маленькие близорукие глаза, дрожат седые усы. При слове «оттуда» указательный палец взметнулся вверх, к потолку.

Доктор Тюльпанов избегал называть вслух, особенно по телефону, имена и должности своих державных пациентов. Он был неплохим хирургом, но в последнее время все реже решался оперировать. При осмотрах больных, на консилиумах, он никогда не высказывал определенного мнения, вместо «я считаю» или «я думаю» предпочитал говорить: «у меня такое впечатление, такое чувство».

С Михаилом Владимировичем он держался подчеркнуто вежливо. Иногда определенно хотел сказать гадость, но вместо этого льстил, заискивал. Случалось, что сложные удачные операции, проведенные Свешниковым, как-то сами собой оказывались победами товарища Тюльпанова. И никто ничего не имел против. Сестры, фельдшеры молчали. Тюльпанов присутствовал в операционной, наблюдал, сопереживал. Михаил Владимирович оперировал. Сначала Тюльпанов говорил «мы», имея в виду себя и Свешникова. Потом стал говорить «я». «Я прооперировал товарища такого-то».

Михаил Владимирович не возражал, не спорил. Тем более что чувствовал: так всем удобней, не только Тюльпанову, но и держав-

ным пациентам. Настоящий кремлевский хирург должен оставаться в тени. Пусть выступает на трибунах и дает интервью сладкоголосый, идеологически безупречный чиновник от медицины.

Нестерпимо хотелось спать. Всего лишь пару часов назад профессор вернулся домой из Солдатенковской больницы, и вот теперь надо опять туда мчаться. За окном послышался рев мотора. Автомобиль подъехал к подъезду.

— Миша, погоди, чаю согрею, — няня Авдотья Борисовна приковыляла из кухни, маленькая, высохшая, она двигалась с трудом, но по-прежнему вставала раньше всех и хлопотала по дому.

— Некогда, няня, прости.

— Шарф надень, холодно. Небритый, исхудал. Стар уж ты, Миша, ночами работать.

— Не ворчи. Где мои ботинки? — Михаил Владимирович присел на корточки, заглянул вглубь обувной полки.

— Так ведь ты разрешил Андрюше надеть, чего же искать? Вон, сапоги твои, я намедни от сапожника принесла. Набойки поставил резиновые, сказал, век сносу не будет, взял дорогого, аспид.

Михаил Владимирович, прыгая на одной ноге, стал надевать старый залатанный сапог.

— Няня, а что, Андрюша разве не вернулся еще?

— Сядь, не спеши. Распрыгался. Упадешь, чего доброго, я ж не подниму тебя. Андрюша дома. Вернулся час назад, заснул, не раздевшись, не разувшись, в твоих ботинках. Ты к нему не ходи. Пусть уж проспится.

Михаил Владимирович натянул оба сапога, так и не присев на табуретку, топнул, взглянул на няню.

— Что значит — проспится?

— А то и значит, Мишенька. Пьяный он пришел, пьяный и злой. Лучше б я не дождала до такого срама. Ложечки серебряные от обысков, от товарищей сберегла, целую дюжину, бабушки твоей ложечки, с вензелями, а теперь вот всего три штуки осталось. Об одном молюсь, чтоб только не он это, не Андрюша. Пусть кто чужой, ладно. Только бы не он.

Профессор быстро прошел в комнату сына. Семнадцатилетний Андрюша лежал поверх одеяла, свернувшись калачиком, действительно одетый, в брюках, в джемпере, в отцовских ботинках. Михаил Владимирович перевернул его на спину, почувствовал слабый

запах перегара изо рта. Будить, бранить, воспитывать сейчас не имело смысла. Пяти минут на это не хватит, да и что толку? Слова уже не помогут, все переговорено.

— Ступай, Миша, его теперь пушкой не разбудишь. Танечка проснется, поговорит. Она, чай, поостроже тебя будет.

Вместе с няней профессор вышел из комнаты, закрыл дверь.

В машине ждал незнакомый хмурый шофер. Усевшись на заднее сиденье, Михаил Владимирович достал из кармана катушку шелковых ниток, принялся завязывать и развязывать разные хирургические узлы. Обычный, двойной, опять обычный. Сначала пальцы плохо слушались, потом ожили, задвигались ловко и быстро, вслепую. Глаза он закрыл и заставил себя не думать о пьяном сыне.

Тюльпанов встретил его в коридоре, у смотровой.

— Поверьте, я не стал бы вас беспокоить из-за пустяка, но тут особенный случай. Лично Владимир Ильич волнуется, просил информировать его каждый час. Пациент, между нами говоря, человек непростого характера. Умоляю, когда будете с ним беседовать, аккуратней, мягче. Очень уж обидчив. Кавказский темперамент.

Все это Тюльпанов быстро, на одном дыхании, прошептал Михаилу Владимировичу на ухо и повлек его под руку в смотровую.

Больной был накрыт простыней до подбородка. На лицо падала густая тень ширмы. Слышалось хриплое тяжелое дыхание, иногда прорывался глухой стон сквозь стиснутые зубы. В углу сестра Лена Седых кипятила шприцы на спиртовке.

— Боль в эпигастральной и в правой подвздошной области, температура тридцать восемь и два, язык сухой, — доложила она механическим громким голосом и добавила чуть тише, живее: — Здравствуйте, Михаил Владимирович.

Профессор присел на край кушетки, откинул простыню, принялся прощупывать волосатый напряженный живот.

— Так больно? А так?

В ответ больной тихо матерился.

«Богатое уголовное прошлое, — подумал профессор, — кавказский темперамент».

— На левый бок повернитесь, пожалуйста.

— Зачем?

— Будьте любезны, повернитесь. Благодарю вас. Так больно? Где именно?

— Резать меня хотите? — мрачно поинтересовался больной.

От боли и волнения кавказский акцент усилился. Тень уже не прятала лицо, большое, землистое, побитое оспой. Впрочем, Михаил Владимирович узнал его в первую же минуту. «Азиатище, чудесный грузин».

— Пока хочу только послушать. Задержите дыхание. Теперь дышите глубоко. Курите много. Мало двигаетесь. Спокойней, спокойней, Иосиф Виссарионович, не надо так нервничать.

— С чего вы взяли, что я нервничаю?

— Сердце, оно, знаете ли, притворяться не умеет, у него свои ритмы. Кстати, оно увеличено у вас. Берегите его.

— А живот? Что с животом? Почему температура?

— Острый аппендицит. Придется удалить ваш червеобразный отросток, иначе перитонит, — профессор поднялся, — не волнуйтесь, это быстро и вовсе не опасно. Лена, готовьте больного.

Вместе с Тюльпановым они вышли в коридор.

— Я с самого начала подозревал именно аппендицит, — сказал Тюльпанов, — но мало ли, вдруг почечная колика? Острый панкреатит, холецистит.

Михаил Владимирович остановился, грустно посмотрел на Тюльпанова.

— При остром холецистите боль отдается в правое плечо, в лопатку, френикус-симптом. При панкреатите... — он махнул рукой. — Вы сами все знаете. Что с вами, Николай Петрович? Это азбука.

Глаза Тюльпанова заметались, он вдруг схватил Михаила Владимировича за плечо и прошептал:

— Не могу объяснить. Робею перед ним.

— Полно вам. Вы две войны прошли, японскую, мировую. Робеете! Да кто он? Один из секретарей ЦК, не более. Просто больной, которому нужно вырезать аппендикс.

— Вы правы, тысячу раз правы. Гнусное чувство, стыдное, я так устал. После Кронштадтского бунта Ильич всех подозревает, даже своих. Представляете, что он сказал мне? «За товарища Сталина отвечаете головой». А головы летят, летят, попробуйте тут сохранить спокойствие и силу духа!

— Он знает, что вы меня вызвали оперировать Сталина?

Тюльпанов покраснел, отвел глаза, достал из кармана халата пачку папирос.

— Да... Нет, собственно, Ильич сам высказал эту идею. То есть он просил, чтобы вы товарища Сталина осмотрели. Угощайтесь.

— Спасибо, я натошак не курю.

— Ах, да, я вас вытащил из постели. Понимаю. Слушайте, давайте позавтракаем, а? Его будут готовить минут тридцать. Милости прошу ко мне, выпьем кофе. У меня настоящий, бразильский.

Небольшой уютный кабинет Тюльпанова был обставлен подомашнему, старинной мебелью темного дерева, вдоль стен, от пола до потолка, книжные полки. Пол застлан мягким узорчатым ковром. Удобные кресла в полосатых чехлах. На кушетку небрежно брошен вязанный плед, подушка. Единственное, что нарушало старорежимную гармонию — огромные портреты Ленина и Троцкого, внутри, вдоль рам, украшенные причудливым цветочным орнаментом.

— Кофе люблю варить сам, на спиртовке. Кофейник, видите, настоящий, турецкий.

Тюльпанов поставил на стол серебряную вазочку с печеньем, из ящика извлек плитку шоколада. Михаил Владимирович подошел к телефонному аппарату.

— Я, с вашего позволения, позвоню домой?

— Да, конечно.

Трубку взяла Таня.

— Он проснулся, — сообщила она мрачно, — тихий, виноватый. Уверяет, что это в последний раз. Няня решила спросить его про ложки, он искренне оскорбился. Клянется, что не прикасался к ним. Знаешь, я ему верю. Ну, а у тебя что происходит, папа? Ты совсем не успел поспать.

— Вернусь, выплюсь. Операция небольшая. Аппендицит.

— Хорошо. Я убегаю в университет. У Миши кашель прошел. Андрюша обещал погулять с ним сегодня, у няни голова кружится, Миша бегает, как угорелый, она за ним угнаться не может. Да, твоя морская свинка вроде бы раздумала подышать, поела даже.

У Михаила Владимировича пересохло во рту, сердце забилось быстрее.

— Поела? Ты сама это видела?

— Я видела пустой лоток. Воду она тоже выпила.

— Уф-ф, слава богу. Что она теперь делает?

— Веселится, пляшет и поет.

Пока Михаил Владимирович говорил, Тюльпанов внимательно следил, как поднимается пена в медном кофейнике, но все-таки упустил момент. Пена с шипением залила огонек спиртовки. Тюльпанов тихо выругался и проворчал:

— Плохая примета. Плохое начало дня. Ужасно, перед такой ответственной операцией. Теперь вот руки дрожат.

Руки у него правда тряслись. Он едва сумел разлить кофе по чашкам, половину расплескал на блюдечки и на стол. Принялся искать салфетку, не нашел, достал большой носовой платок и стал неловко вытирать кофейные лужицы.

— Николай Петрович, полно вам, — сказал Свешников. — Операция несложная, к тому же резать буду я, а не вы. Зачем так нервничать?

Тюльпанов аккуратно сложил платок, убрал в карман, однако тут же вытащил, встряхнул, скомкал в кулаке и швырнул в мусорную корзину.

— Не знаю. Не понимаю. Впрочем, это пустое, не обращайте внимания, пройдет. Я давно уж хочу спросить вас, как продвигаются опыты?

— О чем вы, Николай Петрович? Какие опыты?

— Простите великодушно, я невольно слышал, как вы говорили с дочерью, мне показалось, речь шла о каком-то подопытном зверьке.

— О морской свинке.

— Вы испробовали на ней препарат?

— Я пересадил ей вилочковую железу, — быстро соврал профессор.

— Любопытно. Этот опыт тоже связан с омоложением?

— Омоложение ни при чем. В данный момент меня интересуют вопросы иммунитета. А препарата у меня не осталось, добыть его пока невозможно.

— Я знаю, — Тюльпанов нахмурился, выразительно вздохнул и принялся расхаживать по кабинету. — Чудовищная история. К вам в восемнадцатом подсадили какого-то мерзавца, он расстрелял вашу уникальную лабораторию, убил всех подопытных животных. Варварство, слов нет. Могу представить, что вы тогда пережили. Позвольте еще вопрос, может, нескромный, однако чисто теорети-

ческий. Если бы, допустим, опыты продвинулись, появился бы более или менее очевидный результат, вы бы сами решились?

Он остановился, уставился куда-то вбок, мимо профессора, тревожными красноватыми глазами.

— Нет, — Михаил Владимирович улыбнулся и взял печенье, — нет, Николай Петрович. Я бы не решился. Скажите, где вы раздобыли это кондитерское чудо? Изумительно вкусно. Помнится, у Филиппова продавались такие маленькие крендельки с корицей, вот, очень похоже.

Тюльпанов уселся наконец в кресло, отхлебнул кофе.

— Жена испекла. А вы лукавый человек, Михаил Владимирович. Я был с вами откровенен, может, напрасно? Все никак не могу вас раскусить.

— Зачем раскусывать меня? Не надо. Я не орех, не куриная косточка.

— Остроумно. Опять уходите от прямых ответов. Знаете, многие говорят, вы человек холодный, надменный, чрезвычайно скрытный. Не любят вас, Михаил Владимирович. Коллеги, собратья не любят. Я даже слышал, что вы владеете приемами древней жреческой магии, потому вас так ценит Ильич, вы будто бы приворожили его.

Тюльпанов замолчал, впервые взглянул прямо в глаза Михаилу Владимировичу, но мгновенно отвел взгляд.

— Повезло мне вовремя родиться, — пробормотал профессор, — лет триста назад где-нибудь в Испании, во Франции не избежать бы мне костра Святой инквизиции.

— Не думаю. Инквизиторы тоже болели и нуждались в надежных докторах. Вас бы вряд ли тронули. Жгли мошенников, самозванцев, еретиков. Людей лояльных и полезных не трогали.

— А я разве не еретик? Самый что ни на есть. Впрочем, ладно. Дурацкий какой-то разговор, — профессор зевнул, потянулся, хрустнув суставами. — Няня права, стар я для бессонных трудовых ночей. Будьте любезны, Николай Петрович, налейте еще вашего чудесного кофе.

Тюльпанов вылил ему в чашку все, что осталось в кофейнике, закурил и улыбнулся удивительно сладко.

— Да, вы правы, разговор дурацкий. А все-таки магический элемент в вашем мастерстве присутствует. С точки зрения диалектического материализма чушь полнейшая, мракобесие. Однако я

много раз видел своими глазами, как вы оперируете, это, знаете ли, впечатляет. Поневоле уверуешь в колдовскую силу.

— Не надо, Николай Петрович, не верьте в колдовскую силу. Здоровее будете, — профессор опять зевнул и взглянул на часы, — минут через пять пора идти. Сколько лет нашему больному?

— Он семьдесят восьмого года.

— Значит, чуть за сорок. Выглядит старше. Почему вы его так боитесь?

— Я? Боюсь? — Тюльпанов опять сладко улыбнулся и даже подхихикнул. — Нет, дорогой мой профессор, вы совершенно превратно поняли меня. Я чувствую огромную ответственность за здоровье товарища Сталина, я горд великой честью, миссией, возложенной на меня волей народных масс.

Он медленно встал, распрямился, вытянулся, застыл, молитвенно сложив ладони у солнечного сплетения. Улыбка все еще не сползла, но лицо странно преобразилось, порозовело, стало радостной нежно-персиковой маской, как будто даже структура кожи поменялась, уплотнилась, глянцевито заблестела.

Пожилый неглупый человек, опытный врач, любитель домашней выпечки и турецкого кофе, в одно мгновение превратился в куклу из папье-маше.

— Товарищ Сталин — верный друг, ученик и соратник Владимира Ильича. Он прошел подполье, тюрьмы, ссылки, огонь Гражданской войны, не щадя себя, боролся за светлое будущее, готов был пролить кровь за идеалы коммунизма, за наше счастье. Кровь борцов... священная кровь... символ единства... храм всемирного благоденствия...

Если бы он запел петухом или прошелся на руках по кабинету, это показалось бы менее странным.

«Вот действительно магия, — изумленно подумал Михаил Владимирович. — Товарищ Сталин практически никто. Психопатический приступ? Бедняга помешался?»

Тюльпанов между тем замолчал, сник, рухнул в кресло, стал вяло жевать печенье.

— Да, в таком состоянии определенно нельзя оперировать, — сказал Свешников, — что с вами происходит?

— А что происходит? — Тюльпанов густо покраснел. — Что вы имеете в виду?

Михаил Владимирович не стал объяснять, допил кофе, закурил, избегая смотреть в глаза Тюльпанову, и облегченно вздохнул, когда в дверь постучали.

В операционной все было готово. Больной сидел на столе, свесив ноги. Профессор увидел сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге. Особая примета. Вообще весь он, Коба-Сталин, состоял из «особых примет». Левая рука сантиметра на четыре короче правой. Ограниченная подвижность в области плеча. Черты простецкие, грубые. Оспины и пигментные пятна. Низкий лоб. Толстая короткая шея. Топорная работа. Но почему-то лицо притягивало взгляд, врезалось в память.

«Ни с кем его не перепутаешь, — заметил про себя Михаил Владимирович, — интересно... до переворота он был вне закона, много раз бежал из ссылки, пользовался чужими паспортами. Как ему удавалось бежать и скрываться с такой внешностью? Кажется, он даже умудрялся свободно ездить за границу, на партийные съезды».

Анестезиолог подошел к Михаилу Владимировичу и шепнул:

— Отказывается от общего наркоза.

— Невозможно. Под местным я резать не буду, — громко сказал Свешников.

— Будете, — Коба уставился на профессора.

Верхние и нижние веки были мясистыми, тяжелыми. Радужка красно-коричневая, с огненным отливом по краю. Зрачки вдруг показались Михаилу Владимировичу не круглыми, а прямоугольными, как у козла. Этот эффект завораживал, впрочем, длился всего мгновение. Игра тени и света.

— Я вижу, вам лучше, боль утихла. Так бывает иногда, от страха перед операцией. Хочется убежать, верно?

— Не верно. Режьте, но спать не буду под вашим ножом, — он оскалился, из-под усов показались редкие прокуренные зубы. — Вы будете резать, я терпеть. Поглядим, кто кого, господин Свешников.

Михаил Владимирович затылком почувствовал, как напрягся позади него Тюльпанов, когда прозвучало плохое слово «господин».

«Азиатище шутить изволит, — печально вздохнул про себя Михаил Владимирович, — за куражом прячется страх. Он не хочет, чтобы кто-то видел, как ему страшно. Даже здесь, на операционном столе, желает оставаться непроницаемым».